



**Петр Чалый**

## ПОСЛЕДНИЕ МУЖИКИ

*Рассказ*

*Предлагаем вниманию читателей очерк из готовящейся к печати книги Петра Дмитриевича ЧАЛОГО «Ты припомни, Россия...» — первой после его ухода, — ставшей символичным памятником его подвижническому творчеству*

**Петр Дмитриевич Чалый** (1946–2024), член Союза писателей, Союза журналистов России, родился 27 августа 1946 года в селе Первомайское (Дерезоватое) Россошанского района. После окончания семилетки работал в колхозе и учился в вечерне-заочной средней школе сельской молодежи. В 1968 году окончил Воронежский педагогический институт. Преподавал русский язык и литературу в Карасукском педучилище Новосибирской области. Работал более пятидесяти лет журналистом — в россошанской районной газете «За изобилие», собственным корреспондентом областной газеты «Коммуна» по югу Воронежской области, в газете «Россошь».

Печатался в газетах «Литературная Россия», «Литературная газета» (Москва), «Литература и жизнь» (Киев), на белорусском языке в еженедельнике «Культура» (Минск). Публиковался в журналах «Наш современник», «Новая книга России», «Сельская новь», «Солдаты России», «Человек и закон» (Москва), «Подъём», «Кольцовский сквер» (Воронеж), «Волга» (Саратов), «Дон» (Ростов-на-Дону), «Север» (Петрозаводск), «Тюмень литературная», в интернет-изданиях «Русское воскресенье», «Российский писатель», «Молодое Око — Русское поле», «Славянство. Форум славянских культур», «Столетие.ру», на сайте газеты «День литературы» и других.

Автор и составитель двадцати книг художественной и документальной прозы.

В составе студии документальных фильмов «Река Лена» при Военно-патриотическом центре «Вымпел» участвовал в создании полнометражных лент героико-патриотического звучания — «Прости меня, мама», «Над Дубравой месяц светел».



Петр Дмитриевич Чалый

Лауреат премии Союза писателей России «Имперская культура» имени профессора Эдуарда Володина. За книгу «Донская высота», за рассказы о потомках слободских казаков вручена Первая премия во Всероссийском конкурсе «О казаках замолвим слово». Книга «На богатырской заставе» отмечена Бронзовым дипломом IV Международного славянского форума «Золотой Витязь». За переводы с украинского языка на русский отмечен дипломом лауреата международного конкурса Конгресса литераторов Украины. Лауреат премий «Кольцовский край», «Родная речь» (журнал «Подъём»).

Награжден государственными и общественными наградами, в том числе орденом «Знак Почета», медалями, Почетной грамотой Фонда культуры Украины. Почетный гражданин села Первомайское Россошанского района Воронежской области.

\* \* \*

*Памяти участников  
Великой Отечественной войны —  
крестьянина Дмитрия Петровича Чалого  
и писателя Федора Александровича Абрамова*

1

**-Д**

едя! — то ли обрадовано, то ли напугано выкрикнула дочурка, стоявшая в коридоре.

— Гостем деда заявился. Не ждали? — сказал-спросил привычно отец.

— Отчего, ждали. — О его приезде, действительно, я знал загодя. Сам отец за телефонную трубку не брался, а дядя по его просьбе шутейно известил:

— Завтра дома кто у вас будет? Батько в деревне засиделся, хочет в городских побывать. Овчину, говорит, сдам и с внучатами погостюю.

После я представил, как в ту минуту слушавший рядом переговоры отец про себя чертыхнул дядю за язычок распоследним словцом. Ведь о своем намерении отвезти заготовителям овечью шкуру отец сказал, конечно, мимоходом. А дядя выставил как главную причину поездки к сыну.

— Ни завтра, ни послезавтра со шкурой тут нечего являться, — раздраженно отвечал я. Не сдержался. — Сторит она, что ли. — (Знаю, щедро просоленная овчина, ладно сложенная «конвертом», в подвальной прохладе — всегда в сохранности.) Почувствовал, что вгорячах слишком резко говорю, убавил пыл. — При первом случае машиной отвезем.

— И я о том толкую, — соглашался дядя.

— Сгниет она — невелик убыток. — Нет, так не сказал я, про себя подумал, зная, что в сутолочной маете не скоро исполню обещанное.

— Без овчины пусть приезжает.

— А то и на порог не пустишь. Так и передаю...

Послушается... на то оно и похоже. Разбираю сумку с гостинцами, а сверху лежит скатанная валиком мешковина, пропахла овечьим духом. Только глянул исподлобье на отца. Он же вроде и не заметил моих каменьев в осерженных глазах, уже держал Татьянку на коленях, пытался вникнуть в ее птичий щебет.

Нет, отец был не из прижимистых. Сколько помню: как ни худо-бедновато жили, наша хата в праздничном застолье всегда с гостями, сходились отцовы и мамины друзья-подруги. В помощи соседям (а на селе всякий сосед) никогда не отказывалось. Богатства особого в доме не заводилось, хоть выделялся отец из деревенских мужиков мастеровитостью (избы ставил, оконные рамы и двери вязал, крыши крыл соломенные и железные, кадки из дубовых тросток делал и вед-

ра из жести клепал, сапоги тачал и овчины чинил — оставаясь бессменным колхозным бригадиром, в чьи обязанности входили не просто «загадывать» — давать рабочий наряд людям, прежде всего — самому, скажем, братья за косу, выкладывая-вершить возы и стога с вилами в руках).

Выделяла отца, на мой, конечно, взгляд, дотошная бережливость, вдобавок к натуре привитая и самой жизнью, в какую вместились сиротское детство, пережитые голод (и не один), война (и не одна). Человека он ценил прежде как хозяина в доме и в колхозе. Терпел любые слабости, но только не бесхозяйственную расхлябанность. Тут уж ты в его глазах был непрощаемо пропащим.

Конечно, и я, как газетчик, и дядя, как колхозный парторг, теперь-то по должности ревностно пропагандировали именно экономию, именно бережливость, отдавая им место в ряду лучших человеческих достоинств. Однако:

— Быть рачительным, но не до такой же степени! — Разумом понимали отца, чувством (дети иного времени) не соглашались. Потому один подтрунивал с подначкой, я озлился молча.

— Приспела нужда тащиться с этой чертовой шкурой через весь городок!

О нужде подумалось не зря: день выбрал отец не совсем удачный — май, а солнце пекло по-летнему, в безветрии пыль держалась на улочках непродыхаемо. А может, моя злость подогревалась вдобавок и гадливым чувством: отец корреспондента с заплочным оклунком?

В тот момент не приходило на ум, что отцов пример не минул бесследно. Благодаря прежде всего ему, встав на собственные ноги, приучил себя, собственную семью жить не по-цыгански — одним днем, сыты нынче — и ладно.

За обедом надуманная обида вконец растаяла в разговорах, когда Татьяна, обрадовано ухватившись за уголок одеяльца, с блаженной улыбкой засопела в кроватке.

Перед борщом отец с нескрываемым удовольствием принял чарку. Вино он любил, помоложе был, выпивал — даже слишком крепко, не ошибаючись говорил, что и сыновью долю наперед осилил. Правда, здоровья хватало, пил не до болезненной грани, хворающим с похмелья не был, поутру всегда на ногах. Когда хвори пристали, доктор сказал, надо бросить не то курево, не то чарку — на выбор. Цигарку не выпускал из губ сызмалу, бросил же на пятьдесят каком-то году в один день и не притронулся к ней. Когда попозже врач по моему наущному совету запретил ему и вино, вконец не смог отказаться, лишь завел себе маленькую стопочку.

В застолье к выпивке «на равных» собеседника не понуждал, исходя из немудреного житейского правила: всяк сам знает свою мерку. В сыновьях тягу к вину вообще не одобрял, и сейчас ему, кажется, глянулось, что себе я налил в рюмку воды.

Похождения с овчиной — в них он меня посвящать не стал — сморили-таки отца. Согласился прилечь на диване, а я себе на полу разостлал полушубок. Так, лежа, и говорили неторопливо.

Укос трав ожидается богатым. Хлеба тоже уродились, майского дождя ждут. С картошкой в огороде не прогадали тем, что посадили рано, первоапрельское тепло не обмануло. Получилось так случайно: со старшей дочкой я поспешил в гости, боясь, что к следующим выходным так поездка не выпадет, настоял сажать картошку, пообещав, если подмерзнет — сам пересажу. Допытывался отец, как в колхозах у соседей сложилась весна. О семейных делах ему обсказал, записывая в памяти просьбы: разыскать в магазинах дверные завесы, шланг к опрыскивателю — колорадский жук выполз на картофельные кусты, купить цветастых цыплят — белые куры матери надоели...

Текла обычная беседа — вдруг отец приподнял голову на локте, взгляделся мимо меня, в стеклянную дверцу книжного шкафа, встревожено спросил:

— Постой, это про него, — он взглядом указал на фотографию писателя, — на днях по телевизору сказали: скончался скоропостижно?..

В застекленном проеме стояла вырезанная из книжки фотография Федора Александровича Абрамова. Снимок несколько не писательский: шагает наезженным сельским проулком человек совсем деревенский обличьем — куртка под вид привычной телогрейки накинута на плечи, штанины заправлены в резиновые сапоги, ворот рубахи нарастешку.

— Дай ближе взглянуть, — попросил карточку отец, писателя Федора Абрамова знал он давно. В школе почти не учившийся, в чем не его вина, грамоту освоил сам основательно: мои школьные задачки по арифметике, самые заковыристые — с пустяками его не докучал, — решал с ходу. Что приметил я, когда сам студентом начал постигать филологические науки, — отзывался отец о прочитанных книгах не то чтобы самобытно — прозорливо, точно определял жизненную цену случаем подвернувшемуся писанию. Тогда же привез я в начинавшуюся складываться собственную библиотечку книги Абрамова. Долгими зимними вечерами, телевизором еще не обзавелись, отец читал их матери вслух, увесистые томики не наскучили. И слезы, и смех, и удивление вызывали прочитанные страницы. Хоть речь шла о людях не здешней южнорусской стороны — о северной деревне, мать часто заключала услышанное одним:

— Про нас написано.

— Россия-то одна, — коротко, но веско объяснял отец. Суждение не заемное, повидал он на своем веку многое. Бывал, кстати, и в северных краях, о каких читал, выезжал туда с колхозной бригадой на лесозаготовки.

Но особенно зауважал он Федора Александровича, когда уже телевидение поспособствовало тому, позволило увидеть встречу писателя с читателями в Останкинском зале.

— Это же надо высказать всю правду, в глаза сказать на всю страну. — Не охотого к нравоучительным беседам, скуповатого на похвалу, отца точно до глубины — раз так заговорил — расположили исполненные совестливой горечи, душевно близкие, созвучные его думам мысли писателя о неизжитых бедах текущего дня, о каких он не однажды выступал в печати. «Исчезла былая гордость за хорошо распашанное поле, за красиво поставленный зарод, за чисто скошенный луг, за ухоженную, играющую всеми статьями животину. Все больше выветривается любовь к земле, к делу, теряется уважение к себе. И не в этом ли одна из причин прогулов, опозданий и пьянства, которое сегодня воистину стало национальным бедствием? Не пользуется ли этим нероботь, разного рода любители легкого житья?»

В деревне нет недостатка в работающих, талантливых и совестливых тружениках. И у них болит сердце...»

Речь о наболевшем отец понял и принял именно так, как после толковал ее Валентин Григорьевич Распутин: «Есть Народ как объективно и реально существующая в каждом поколении физическая, нравственная и духовная основа нации, корневая ее система, сохранившаяся и сохраняющая ее здоровье и разум, продолжающая и развивающая ее лучшие традиции, питающая ее соками своей истории и генизиса. И есть народ “в широком смысле слова, все население определенной страны”, как читаем мы в энциклопедии. Первое понятие входит во второе, существует в нем и действует, но это не одно и то же. И когда Шукшин с уверенностью говорит, что “народ всегда знает правду”, он имеет в виду душу и сердце народа, здоровую, направляющую ее часть, а когда Федор Абрамов обращается с известным письмом к односельчанам, упрекая их в нерадивом хозяйствовании, он не Народу адресует свои справедливые упреки, а населению, которое составляет жизнь и труд родного ему поселка. И составляет, кроме того, часть всего народа — как населения».

— Обсказал, как живем-кормимся. Что значит — из мужиков человек, — рассудил тогда отец.

— Вся страна из крестьян вышла, — обронил я.

— Мужиком остался в писателях. Как Шолохов в казаках, — настаивал на своем отец. У него не было выше похвалы писателю, как этой — что Шолохов.

Впрочем, я сам думал примерно так же — на глазах рождается народная книга, родня «Тихому Дону» — когда студентом читал «Две зимы и три лета», когда кинулся по библиотечным закромам на розыски начального романа «Братья и сестры», давшем впоследствии чистое православное молитвенное имя всему величавому художественному полотну.

И вот теперь-то отец долго глядел на фотографию, сохранившую совестливо твердый взгляд в лице, уверенный шаг на родимой земле — русского писателя и крестьянина.

Горечь утраты выказал заметно дрогнувший голос:

— Жить бы ему да жить.

Схоже потерянно повторял и я, когда ранним утренним часом прозвенел долгий телефонный звонок междугородней связи и друг тихо слышным, срывающим слогом известил оглушающе о кончине Федора Александровича.

### 3

Не ведая о том, Федор Абрамов в судьбой отпущенной дороге — мне, смею верить, как и моим душевным содрузгам, — был за «крестного» отца.

Смысл в вышенаписанное вкладываю не только переносный, хотя значимее, конечно, именно он. Ведь не одному поколению и незабвенной памятью (горько, но могло стать — была жизнь, а о ней в слове никто и ничего не оставил), и в добрую науку (чтобы не казалось — все начинается только из нашего детства) — не канувшие в небытие благодаря летописцу житие крестьянского рода Пряслиных, чьими руками и плечами держалось наше государство в середине текущего века. И стоит поныне. Не без умысла писатель одарил любимых героев звучной фамилией: ведь прясельных мужиков в старину наряжал сельский мир присматривать за околичной изгородью, говоря языком русской былины — держать заставу богатырскую. А деревенская нива в дни войны и мира для народа всегда остается надежной опорой. Не потому ли ее сыны и на современном литературном покое достойно «устроили» и укрепили славные традиции отечественной словесности.

В ряду косцов-писателей не только по алфавиту первым ставится имя Федора Абрамова, в чью записную книжку однажды легли раздумья о собственном ремесле:

«Одно из главных назначений писателя — поддерживать в духовной форме свой народ».

Этой заповедью он жил.

Первый роман «Братья и сестры» помечен 1958 годом. Тому, кто брался его читать, становилось ясно: в литературу пришел большой писатель.

Начало таким бывает редко.

Объяснимо оно, прежде всего, тем, что первая книга создавалась человеком зрелым. Год рождения — 1920-й. Горькое сиротством детство. Пройдены фронты Великой Отечественной, раны на теле, на душе тяжелой памятью — война. О ней напоминают на борту парадного костюма медали, орден Отечественной войны II степени.

Важные факты в военной жизни Федора Абрамова обнародованы в изданной в 2003 году в Санкт-Петербурге документальной книге В.Н. Степакова «Нарком

СМЕРШа». Название созданного в 1943 году Главного управления контрразведки означало — «смерть шпионам».

Исследователь С.П. Кононов обнаружил в архивах ФСБ Архангельской области уникальные документы, свидетельствующие, что с апреля 1943 года по октябрь 1945 года в отделе СМЕРШ Архангельского военного округа служил Ф.А. Абрамов, позднее ставший известным русским писателем. Остановимся на этом факте подробнее и, с позволения Сергея Коконова, воспользуемся его материалами. Это необходимо сделать не только из-за неизвестной страницы в биографии писателя, но и потому, что благодаря «стараниям» псевдоисториков и псевдоветеранов у определенной части нашего общества сложилась искаженное мнение о тех, кто служил в СМЕРШе.

Зимой 1942 года Федор Абрамов, после тяжелого ранения на Ленинградском фронте, был эвакуирован в госпиталь города Сокол. Затем вновь военная служба: сначала в запасном стрелковом полку в Архангельске, позже — в Архангельском военно-пулеметном училище.

В училище на него обратили внимание сотрудники СМЕРШа. «Образованный с боевым опытом старший сержант Абрамов не мог не попасть в поле зрения кадровиков органов безопасности, испытывающих дефицит в кадрах. Особо кадровиков привлекло знание Федором Алексеевичем иностранных языков. В «Анкету специального назначения работника НКВД» в графе: «Какие знаете иностранные языки», молодой кандидат на службу написал: «Читаю, пишу, говорю достаточно свободно по-немецки. Читаю и пишу по-польски».

17 апреля 1943 года Абрамов был зачислен в штат отдела контрразведки Архангельского военного округа на должность помощника уполномоченного резерва. Однако уже в августе он становится следователем, а через год с небольшим — старшим следователем. Правда, эта служба Федора Александровича началась не слишком гладко. Как-то раз в одном из разговоров с сослуживцами он высказал мысль о том, что не видит смысла в конспектировании приказов Сталина, поскольку это отнимает много времени и сил. Кто-то усмотрел в этом высказывании крамолу и доложил начальству. Грянуло служебное разбирательство, которое окончилось тем, что вольнодумец написал объяснение, удовлетворившее даже самых бдительных товарищей.

«...приказ тов. Сталина является квинтэссенцией мысли, каждое предложение, каждое слово его заключает в себе столь много смысла, что в силу этого необходимость конспектирования приказа в принятом значении сама собой отпадает.

Я сказал далее, что приказ тов. Сталина представляет собой совокупность тезисов, дающих ключ к пониманию основных моментов текущей политики, и что каждый тезис может быть разработан в авторитетную публицистическую статью. В том же разговоре я обратил внимание на изумительную логику сталинских трудов вообще, что не всегда можно найти в речах Черчилля и Рузвельта, на сталинский язык, обладающий всеми качествами языка народного», — написал в объяснительной Федор Абрамов.

Дело о его политических сомнениях и незрелости дальнейшего развития не получило, и начинающий контрразведчик спокойно приступил к выполнению своих прямых обязанностей.

Борьба с разведкой и диверсантами противника на территории Архангельского военного округа была главной задачей отдела. Контрразведывательное обеспечение велось в Архангельской, Вологодской, Мурманской областях, Карельской и Коми автономных республиках, где вражеская активность была чрезвычайно высока. Так, осенью 1943 года в Вологодской и Архангельских областях на парашютах было выброшено 27 разведывательных и диверсионных групп. Как удалось выяснить С.П. Кононову, следователь СМЕРШа Абрамов принимал участие в ликвидации восьми групп.

С осени 1943 года постоянным местом его командировок становится Вологодская область. «Опыт, накопленный за год работы по разоблачению немецких агентов, образование, полученное в университете, знание психологии, военный опыт, позволяющий разговаривать, как фронтовик с фронтовиком, — пишет С. П. Кононов, — сделали из Федора Абрамова хорошего специалиста-контрразведчика. Ему поручили участвовать в одной из радиоигр с немецкой разведкой. Игра получила название “Подрывники” и вошла в золотой фонд операций против немецкой разведки во время Великой Отечественной войны.

Органы НКВД Вологодской области совместно со СМЕРШем Архангельского военного округа создали легенду, что на территории Сямженского и Вожегодского районов существует многочисленная группа недовольных советской властью переселенцев с Западной Украины, готовых начать повстанческое движение. Нужна помощь. Немецкая разведка клонула на это и осенью 1943 года выбросила группу своих агентов под руководством Григория Аулина у разъезда Ноябрьский. Они должны были начать организацию этого самого повстанческого движения и проведение диверсий на железных дорогах.

Группу задержали и включили в радиоигру. Немецкое командование поверило в возможность работы в глубоком тылу русских и 1 ноября 1943 года выбросило десант диверсантов из 14 человек для соединения с Аулиным. Несмотря на трудности, всех парашютистов задержали. Старший немецкой группы Мартынов был ранен и застрелился из нагана, так как сдаваться не хотел. Через десять дней “на Аулина” немцы в Харовском районе выбросили еще троих диверсантов и 14 грузовых парашютов с оружием, взрывчаткой, деньгами и обмундированием. Старший группы Федор Сергеев сразу же согласился работать на нашу контрразведку, и его рацию включили в новую игру. Этой игре дали название “Подголосок” и назначили ее руководителем Федора Абрамова.

Абрамов через рацию Сергеева передал немцам, что группа Аулина не найдена. Фашисты приказали Сергееву работать самостоятельно. Долго их “водили за нос” работники СМЕРШа. Две рации подтверждали данные, передаваемые немецкой разведке, что делало игру очень правдоподобной, и враг полностью верил им.

За успешную дезинформацию противника лейтенант Федор Абрамов был награжден именными часами. А “подрывники” еще долго “действовали” на Вологодчине. Немцы весной 44-го последний раз бросили им 28 грузовых парашютов и двух агентов. И хоть фронт откатился далеко, но “дезу” контрразведка СМЕРШа передавала чуть ли не до конца войны».

После Победы ректор Ленинградского государственного университета профессор А. А. Вознесенский выступил с ходатайством:

«Генерал-майору Головлеву.

Прошу демобилизовать и направить в мое распоряжение для завершения высшего образования бывшего студента 3-го курса филологического факультета Ленинградского Университета, ныне военнослужащего, находящегося в Вашем подчинении т. Абрамова Федора Александровича.

Тов. Абрамов за время своего пребывания в Университете зарекомендовал себя как способный и дельный студент, и есть все основания полагать, что из него вырабатается полноценный специалист-филолог, в которых так нуждается наша страна».

22 октября 1945 года служба Федора Абрамова в рядах СМЕРШа завершилась. И вот — уже позади учеба на филологическом факультете Ленинградского университета, научная работа, заведование кафедрой советской литературы.

Защитил диссертацию, писал критические статьи. Становился известным как ученый литературовед.

И вдруг — переход на писательскую тропу.

Слова «и вдруг» пишу под впечатлением рассказов встретившихся мне университетских учеников Федора Александровича.

— Никогда бы не подумал, что Абрамов будет таким известным писателем. Мы с ним в партком вместе избирались. С виду человек больше из ученого мира: суховат в разговорах, деловит в общественных хлопотах.

Так нередко обманчиво наше лишь внешнее впечатление о человеке.

А герои первой книги, их судьбы стали основным делом для Абрамова на десятилетия. Ради них жил. Продолжением «Братьев и сестер» явились «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья». Четвертый роман «Дом» венчает — какой и суждено ей было стать — главную книгу Абрамова, по завершении нареченную как нельзя более сердечно, «очень важным для нашего народа названием» — «Братья и сестры».

От мощного корня вершинной книги самородной порослью в отечественной литературе — россыпь повестей и рассказов, статей и выступлений, скрепленных одной набатной думой: «Если есть такой писатель Абрамов, то его главное... — будить, всеми силами будить в человеке человека... Народ умирает, когда становится населением. А населением он становится тогда, когда забывает свою историю».

#### 4

Раз лежит душа к слову, понятно и объяснимо желание сопутствовать боготворимому тобою мастеру. Бездельно докучать никогда бы не стал, а тут сам явился повод.

В беседе с корреспондентом, кажется, «Литературной газеты» писатель сказал о том, что закончил работу над третьим «пряслинским» романом, название ему дает «Осенние костры». А в то время в Воронеже выходила схоже поименованная книга, к тому же заголовок мне показался больше очерковым, изрядно затрепанным от частого повторения в газетах, да и не ложился он (опять-таки, по моему мнению) к повествованию. Об этом я и отважился написать Федору Александровичу, отправив письмо в адрес редакции газеты.

Вскоре пришел ответ.

«Очень тронуло меня Ваше письмо, Ваша забота. Спасибо! Да, Вы правы: лучше было бы, если бы «Осенние костры» существовали на свете в единственном варианте. Но унывать из-за этого тоже не стоит. Вспомните: сколько, например, «Кавказских пленников» в русской литературе!..»

Не берусь утверждать — мои ли сомнения, иные какие обстоятельства сказались при окончательном выборе имени новорожденной книги, но в журнале роман печатался под хорошо известным теперь нам названием «Пути-перепутья».

С перепиской к Федору Александровичу (хоть он и обозначил мне свой домашний адрес) навязываться не стал. Настырная назойливость всегда неприятна в человеке. А поговорить было о чем — уже сам писал и терзался: а за свое ли дело берусь?

Время спустя письмо Федору Александровичу я все же написал. Правда, извещал не о собственных мучениях над словом. Как-то сложилось, что литературная критика особо не жаловала книги Федора Абрамова. Он сам об этом говорил вроде и шутливо, но с понятной горечью: «Не всегда меня понимали, были по поводу меня разные документы в печати, критические статьи и прочее... И даже там, где раньше я был представлен как турист с тросточкой и так далее, сегодня уже видят гражданственность и самую активную позицию автора. Но это в порядке вещей. Я критикую, критикуйте и меня, почему же нет... Худо, когда у нас иногда облыжно, бездоказательно лупят просто дубиной по башке — вот это плохо». Про-

что такие-то статьи, я в утешение, что ли, самому себе писал: читательские суждения о творчестве писателя складываются не из мнений критиканствующих, книги сами ратуют за себя.

Изливал мысли на бумагу, скорее всего, в ребячьей запальчивости сбивчиво. В ответном письме суть затронутых проблем Федор Александрович разумно не стал обсуждать, отписал коротко: «Спасибо за добрые слова о моих книгах». Почувствовал он, что нужно мне сказать более важное.

«Судя по всему, Вы сами скоро будете писать оные. А может быть, уже пишете? Есть, есть у вас чувство. Но этого для писателя еще мало. Писатель начинается с мысли, со своего особого взгляда на мир, на человека. И вот этого-то как раз многим пишущим у нас и не хватает».

Выписав из письма, помеченного февралем 1973 года, важные строки, принятые душой как напущение перед дорогой, в которой, понимал, тебе никто и никогда не сможет помочь, — я, признаюсь, запнулся, боясь сбиться на велеречивость, долго не мог подобрать слова, чтобы сказать точнее о том, в чем меня утвердил совет мастера. Выручили вспомнившиеся стихи Александра Трифоновича Твардовского, любимого Абрамовым: «За свое в ответе, / я об одном при жизни хлопочу: / О том, что знаю лучше всех на свете, / Сказать хочу. И так, как я хочу».

Вес собственному труду чувствуешь сам. Отклика людского ждешь, выверяя себя — не ошибаешься ли самонадеянно? Не без душевной тревоги уже свою книжку послал Федору Александровичу. Как бы чувствуя мое нетерпеливое ожидание, не замедлил прислать открытку. Выпала она на пороге из газетного листа. Не разведаясь, в коридорном полумраке еле разбираю трудноразличимый почерк:

«Начал читать: есть слово».

## 5

— Думалось: буду в Ленинграде, постараюсь встретиться, — говорил я отцу...

Помянули с ним добрым словом Федора Александровича. А тут и Татьяна порушила тихую беседу. После сна глазята заголубели синью апрельской пролески, вот уж чем удалась в деда внучка. Как тут отпустить ее с колен. Да засигналил с улицы колхозный грузовик, минуты спустя и деревенский сосед, шофер Николай, встал на пороге:

— Заехал, как и обещал. А дед не надумал в гостях еще остаться?

В городской квартире, в этом привычном многим из нас густооконном улье, пожить дедового терпения хватило от силы на пару дней, больше не выдерживал, начинал маетно слоняться из угла в угол, не придумая, куда прислонить не завывшие быть в безделье руки. Конечно, он суетно ухватился за пиджак, стал отыскивать невесть куда положенную матерчатую фуражку-пятиклинку.

— Ты, Николай, уговор помнишь? — попутно допытывался отец у соседа, живя уже домашними заботами. — Свечереет — сено перевезем. Всего две копейки...

В окно поглядели с Татьянкой, как укатил грузовик. Вроде и не гостил деда, как привиделось...

На исходе май обломился желанными ливнями. Люблю дождь всегда, а тут что-то не порадовал. Тягостно тянулась бессонная ночь, не полегчало на душе от омытого свежестью воскресного утра.

— Ехал бы в деревню, — посоветовала жена сочувственно.

И рад туда податься — не получится: километров пять твердой дороги не довели еще строители к сельцу, а после такого ливня в грязь не сунешься — черноземье. Но ехать пришлось.

Стараясь голосом не выдать тревогу, дядя известил:

— Отец приболел, фельдшерница просит срочно привезти врача-терапевта.

По пустякам меня из деревни никогда не тревожили. Собрался быстро: дома был знакомый доктор, уважил мне, спасибо, с ходу собрал свой рабочий портфель; отчаянно вел грузовичок друг, не увязли колеса в грузкой колее.

Врач мыл руки, готовил приборы-инструменты и заодно расспрашивал: как случилось? Мать отвечала с нескрываемой мольбой во взгляде, веря доктору, как единственному спасителю. И он дотошным разговором вселял надежду в то, что все обойдется.

— Вчера голова у отца побаливала. Утром не жаловался. Встал и засобирился на ставок, вроде потрусить в верше рыбу, она там никогда не ловится, надумалось пройти, как по делу.... С пруда вернулся, в руках пусто. Сказал, что за огородами выбрал покос. Трава там в колено, все одно скотина вытолчит.... Зашел в хату. Сел на диван. Глянул на меня, как хотел еще что сказать — и молчит. Как-то непонятно молчит. К нему — не отзывается, не двинется. Вижу неладное, отобрало разом все. Я тут же бежать к Андрею, брату, да за фельдшерницей...

Врач осмотрел отца, недвижно лежавшего на диване — как уснул, высоко вздымалась грудь от тяжелого дыхания. Приборчиком несколько раз смерил давление тока крови. Глянул и на оставленные фельдшерницей разбитые склянки ампул.

После отозвал меня в другую комнату.

— Рядом был бы на ту минуту — не помог. Отработали свое сосуды, сильное кровоизлияние...

## 6

Осиротил месяц май.

Двумя могилами стало больше на земле. Родными мне. Стою мыслью у изголовья вашего и дума моя об одном.

«Родителей не помню, — при случае говорил отец. — Рос у дяди. С пяти лет он определил меня в погоньчи, чего задарма кашу есть. А мне водить лошадей по полю из края в край приедается, позабавиться еще хочется, пну незаметно ногой земляной ком под копыта, кони напуганно сбиваются с шага. Прянут в борозду, а я вроде сердчусь на них, повисаю на поводьях от усердия. Таю про себя, тешусь; выпряжет дядько лошадей, скажет, на водопой пора. Солнце припекает. Вот прокачусь с ветерком. А дядя подходит, по спине батоном как протянет наотмашь — и закрутился я клубком, подал голос побитой собачкой».

В школу (прим. — П.Ч.) «...не приняли, потому что я был сын середнячки, — ложились личные воспоминания в один из рассказов Федора Абрамова. — ...О, сколько слез, сколько мук, сколько отчаяния было тогда у меня, двенадцатилетнего ребенка! О, как я ненавидел и клял свою мать! Ведь это из-за нее, из-за ее жадности к работе (семи лет повезли меня на дальний сенокос) у нас стало середняцкое хозяйство, а при жизни отца кто мы были? Голь перекатная, самая захудалая семья в деревне».

А сиротские обиды сызмалу ведь не озлобили вас, росли — людьми.

Отцово жизнеописание: «Из сельской комсомольки кому проще срываться с места, ни кола ни двора — вызвался на Амур ехать, новый город строить. В дороге сняли с поезда беспамятным, тифозным, не знаю, как с того свету выкарабкался. Попал на другую стройку грабарем-землекопом, в Воронеж на каучуковый завод — резиновая обувь на машины была нужна в стране. А после на отчину потянуло, в колхозе остался, женился — когда война призвала на полный срок».

«Но самая большая радость в моей жизни, — говорил Федор Александрович (дважды раненый, второй раз очень тяжело), — это то, что я прошел через войну и остался жив... у нас уходило сто с лишним ребят с курса, большой был курс, а

вернулось человек девять, в числе их я. Мне страшно повезло, конечно, я был в переплетах самых ужасных: так, через Ладогу пробирался уже в апреле месяце, там машина одна впереди, с ребятишками блокадными, другая — с ранеными сзади, пошли на дно. Наша машина как-то прошла под пулеметами и под обстрелом, под снарядами...»

Обязан, «должен жить и работать не только за себя, а и за тех, кого сегодня нету». От отца этих слов я не слышал, но жил он именно так — на колхозном покое, до самой — к его возрасту впервые усроченной сельянину — пенсии и с выходом на нее. Было, рубаха на плечах выпадала латками от вьвшейся в материю соли. Снимал плащ, когда из ледяной купели вытаскивал сено на затопленном талой водой лугу, а смерзшая одежда, как жестяная, стояла не ломаючись. Ночью скрипел зубами от ревматических болей в костях, а чуть светало — ехал в поле, хлебопашествовать.

И в то же время жил писатель из отцовского поколения, честными книгами утверждал, что и «словом все делается».

«Когда умру я... скажите обо мне, люди, напишите на могиле: вот человек, который не наработался за свою жизнь», — говорил Федор Александрович близким в последние дни. Говорил не только о себе — о моем отце, Дмитриии Петровиче, о таких, как они.

В земле Русской ваш вечный покой.

С черноземного всхолмья — неохватная даль степной стороны, в какой распавшийся косогор, лощина с одиноким кустом колючей маслины и — поля да поля. С высокого северного угора виднеются луга, холодная Пинега, песчаный берег за рекой, полуразрушенный монастырь и — леса да леса.

И там вы, как всю прожитую жизнь:

«...на юру. Все ветры в дом, каждая погода в окно. Умные-то люди другими прикрываются, а ты — ума нету — вылез.

— Ничего. Сроду за спиной у других не жил и теперь не желаю».

...Клоню голову перед вами, спрашиваю себя: смогу ли так, как отцы, — не за чужой спиной?

